ЛЕВ СЛАВИН

ИЗБРАННОЕ

SHOUT
SHARE
IT

- Лев Славин
  -
  - 1957

Лев Славин
Ильф и Петров

В записках этих рассказано больше об Ильфе Евгения Петрова я знал не то чтобы меньше, чем Ильфа, но иначе. С Петровым я был хорош. А с Ильфом близок просто биографически – общая молодость. Отсюда некоторая количественная неравномерность в воспоминаниях. Точно отсюда, а отнюдь не от предпочтения одного из этих писателей другому

Но от той же былой близости с Ильфом вспоминать о нем труднее. Бывает так, что то, что ты считаешь главным, в глазах другого не имеет значения. А иногда оказывается, что какая-нибудь мелочь, которая кажется тебе незначительной, она-то и есть главное, через которое становится виден человек. Улыбка, мимолетное слово, жест, поворот головы, миг задумчивости – такие, казалось бы, крохотные подробности существования – в сумме своей сплетаются в прочную жизненную ткань образа.

Но вот опасность, пожалуй, самая распространенная в этом жанре воспоминаний: незаметно для самого мемуариста его рассказ о почившем друге перерастает в воспоминания о самом себе. Как бы мы негодовали, если бы скульптор, создавая памятник писателю, придал ему свои черты! А в мемуарной литературе такая подмена портрета автопортретом не раз сходила писателям с рук.

Чтобы воссоздать образ Ильфа, нужны очень тонкие и точные штрихи и краски. Малейший пережим – и образ этого особенного человека будет огрублен и оболган, как это, между прочим, бросается в глаза, когда читаешь некоторые воспоминания о Чехове.

Недавно я наткнулся на подтверждение этой мысли в воспоминаниях вдовы Бунина, В.Н.Муромцевой-Буниной. Она пишет в своей книге «Жизнь Бунина»:

«Перед смертью ему (Бунину. – *Л. С.)* попалась эта книга «Сборник памяти Чехова». Он прочел первую свою редакцию воспоминаний и написал на книге:

«Написано сгоряча, плохо и кое-где совсем неверно, благодаря Марье Павловне, давшей мне, по мещанской стыдливости, это неверное. И. Б.».

Как это ни странно на первый взгляд, но Толстой со всей своей гениальной сложностью и бурной противоречивостью гораздо явственнее и правдивее встает в воспоминаниях современников, чем Чехов. И это понятно. Толстой очень мощно,

очень кипуче самовыявлялся. А к Чехову пробиться трудно сквозь броню его сдержанности, его деликатных иносказаний, его полутонов, его закрытого душевного мира.

Но и Ильф был из людей этого рода. Петрова изобразил Валентин Катаев в романе «Хуторок» в образе Павлика. Петров послужил прототипом для фигуры следователя в превосходной маленькой повести Козачинского «Зеленый фургон». К Ильфу и не подступались. Попробуй-ка изобрази этого человека, замкнутого и вместе общительного, жизнерадостного, но и грустного в самой своей веселости… Быть может, эта грусть происходила у него от сознания своей недолговечности.

Люди, знавшие Ильфа, сходятся на том, что он был Добр и мягок. Так-то это так. Добрый-то он добрый, мягкий – мягкий, но вдруг как кусанет – долго будешь зализывать рану и жалобно скулить в углу. Ничего не может быть хуже, чем обсахаривание облика почивших учтивыми некрологами, всеми этими посмертными культами личности, не менее вредными, чем прижизненные. Да, Ильф был мягок, но и непреклонен, добр, но и безжалостен. «За письменным столом мы забывали о жалости», – пишет Евгений Петров в своих воспоминаниях об Ильфе.

Раскрывался Ильф редко и трудно. Был он, скорее, молчалив, чем разговорчив. Не то чтобы он был молчальником. Нет, он рассказывал охотно и с блеском, но с большей охотой слушал, чем говорил. Слушая, Ильф вникал в собеседника: какой он, «куда» он живет? Загадка человека была для него самой заманчивой. Так повелось у Ильфа с молодости. Никто из нас не сомневался, что Иля, как мы его называли, будет крупным писателем. Его понимание людей, его почти безупречное чувство формы, его способность эмоционально воспламеняться, проницательность и глубина его суждений говорили о его значительности как художника еще тогда, когда он не напечатал ни одной строки. Он писал, как все мы. Но в то время, как некоторые из нас уже начинали печататься, Ильф еще ничего не опубликовал. То, что он писал, было до того нетрадиционно, что редакторы с испугом отшатывались от его рукописей.

Между тем сатирический дар его сложился рано. Ильф родился с мечом в руках. Когда читаешь его «Записные книжки», видишь, что ранние записи не менее блестящи, чем те, что сделаны в последний год его жизни.

В пору молодости, в двадцатых годах, Ильф увлекался более всего тремя писателями: Лесковым, Рабле и Маяковским. Надо понять, чем в то время был для нас Маяковский. Его поэзия прогремела, как открытие нового мира – и в жизни и в искусстве. О Маяковском написано много. Но до сих пор никто еще не

оценил той исключительной роли, которую сыграл Маяковский в деле привлечения умов и сердец целого поколения к подвигу Октябрьской революции, когда он бросил свою гениальную личность и поэзию на чашу весов коммунизма.

Эту первую юношескую влюбленность в Маяковского Ильф пронес через всю жизнь. Евгений Петров совершенно справедливо пишет в своих воспоминаниях об Ильфе: «Ильф очень любил Маяковского. Его все восхищало в нем. И талант, и рост, и голос, и виртуозное владение словом, а больше всего литературная честность». Тут же замечу, что чувство это было взаимным. Маяковский высоко ценил Ильфа и Петрова.

Маяковский, Лесков, Рабле были как бы стихийной литературной школой, которую проходил Ильф, ибо он, как и Петров, принадлежал к тому поколению писателей, когда еще не существовало литературных институтов. Тем не менее, писатели как-то появлялись на свет божий.

Тогда в Одессе было два или три литературных кафе. Одно из них носило несколько эксцентрическое название – «Пэон IV», почерпнутое из стихов Иннокентия Анненского: «Назвать вас вы, назвать вас ты, пэон второй, пэон четвертый…»

На эстраду этого «Пэона IV» входил Ильф, высокий юноша, изящный, тонкий. Мне он казался даже красивым (правда, не все соглашались со мной). В те годы Ильф был худым; он располнел только в последний период жизни, когда болезнь вынудила его усиленно питаться и мало двигаться; начав полнеть, он обшучивал появившееся у него брюшко как нечто отдельное от себя, вроде какого-то добродушного домашнего животного, которое лежало у него на коленях.

Он стоял на подмостках, закинув лицо с нездоровым румянцем – первый симптом дремавшей в нем легочной болезни, о которой, разумеется, тогда еще никто не догадывался, – поблескивая крылышками пенсией улыбаясь улыбкой, всю своеобразную прелесть которой невозможно изобразить словами и которая составляла, быть может, главное обаяние его физического существа, – в ней были и смущенность, и ум, и вызов, и доброта.

Высоким голосом Ильф читал действительно необычные вещи, ни поэзию, ни прозу, но и то и другое, где мешались лиризм и ирония, ошеломительные раблезианские образы и словотворческие ходы, напоминавшие Лескова. От Маяковского он усвоил, главным образом, сатирический пафос, направленный против мерзостей старого мира и призывавший к подвигу строительства новой жизни. В сущности, это осталось темой Ильфа на всю жизнь. И хотя многое в юных стихах его было

выражено наивно, уже тогда он умел видеть мир с необычайной стороны. Но эта необычайная сторона оказывалась наиболее прямым ходом в самую суть явления или человека.

Читал Ильф неожиданно хорошо. Я говорю «неожиданно» потому, что Ильф никогда не проявлял «выступательских» наклонностей. Это, пожалуй, и отразилось в известном афоризме Ильфа и Петрова: «Писатель должен писать». Ильф воздерживался от выступлений и в одесской писательской организации «Коллектив поэтов», где

наша литературная юность протекала, можно сказать, в обстановке вулканически огненных обсуждений и споров. Да и позже, уже когда Ильф и Петров стали популярными писателями, эта часть – устные выступления – лежала на Петрове.

А вот в пору своей юности, «допетровский» Ильф читал свои произведения хорошо. Да и не только свои. Были случаи (на моей памяти их два), когда Ильф сверкнул актерскими способностями. Группа молодых одесских литераторов затеяла постановку пьесы Кальдерона «Жизнь есть сон». Ильф там играл одну из ролей. Второй случай: несколько литераторов во главе с Эдуардом Багрицким поставили и сыграли поэму Багрицкого «Харчевня». Постановка эта состоялась в литературном кафе «Мебос» («Меблированный остров»). Ильф играл роль одного из путников. Он вел ее изящно и весело, но быстро утомлялся. Мы тогда не подозревали о болезненности Ильфа. Это был человек с таким отменным душевным здоровьем, что нам не приходила в голову мысль о его физической хрупкости. Правда, и тогда уже прорывались кое-какие признаки ее. Он, например, не выносил длинных прогулок.

Когда веселой оравой сбегали мы с высокого обрывистого берега к морю, Ильф оставался один наверху. Мы долго видели снизу его одинокий неподвижный силуэт. В юношеском эгоизме своем мы забывали о нем. Он ждал нас. Вернувшись, мы принимались подтрунивать над ним. Но тут он брал свое – кто же мог состязаться с Ильфом в остроумии! Сам Багрицкий с его ошеломительными сарказмами сдавался.

И только много позже, уже в период славы Ильфа, друзья стали догадываться о физической слабости его и о том, что автомобильное путешествие Ильфа и Петрова по американскому континенту, которое произвело на свет такую превосходную книгу, как «Одноэтажная Америка», имело для Ильфа такие же роковые последствия, как для Чехова поездка на Сахалин.

Впоследствии, когда Ильф стал известным писателем, жизнь его наполнилась беспрерывной спешкой на всякие заседания, собрания, комиссии и т. п. Суета эта изнуряла его, и он однажды

сказал:

– Я решил больше не спешить. Опоздаю так опоздаю!

И действительно, он перестал торопиться. Но это не помогло. Он опоздал в главном: вовремя позаботиться о своем здоровье.

При всей своей хрупкости Ильф был человеком смелым. Это видно не только по его литературной деятельности. Я помню столкновения, в которых он заставлял отступать хулиганов. И кажется, мало кому известно, что Ильф был некоторое время в красных партизанских частях в годы гражданской войны. Он почти никому не говорил об этом. Из скромности? Да, вероятно. Он не видел в этом ничего особенного. И вообще он не любил выделяться, он терпеть не мог привлекать внимание к своей личности, – еще одна черта, между прочим роднившая его с Чеховым. Уже будучи известным писателем, Ильф подарил свою книгу одному полюбившемуся ему офицеру войск МГБ и сделал на книге надпись:«Майору государственной безопасности от сержанта изящной словесности». Однако подчеркивать, что Ильф был скромен, – это все равно что подчеркивать, что Ильф умел дышать. Скромность была у Ильфа, как и у Петрова, безусловным рефлексом.

Упоминаю об этом не потому, что до сих пор время от времени попадаются примитивные характеристики Ильфа и Петрова, в стиле той снисходительной аттестации, что выдал им один критик: «Талантливые и честные сатирики». И уже совершенно умилительна наивность, с какой автор неких воспоминаний о Евгении Петрове восхищается такими его качествами, как добросовестность, вежливость, искренность, внимание к человеку. Надо ли говорить, что душевное богатство Ильфа и Петрова не исчерпывалось элементарной порядочностью! В них было кое-что побольше.

К бессодержательной и высокопарной болтовне Ильф питал особенное отвращение. Напыщенные банальности немедленно вызывали в нем остро насмешливую реакцию. Как-то спускались мы с ним по лестнице Дома Герцена (где ныне Литературный институт). Два критика стояли на площадке и о чем-то горячо разговаривали. Мы остановились, чтобы закурить. И тут до нас донеслись обрывки разговора. Оказывается, они спорили о романах Ильфа и Петрова. Один из критиков, горячась, возражал:

– Нет, вы мне все-таки скажите определенно: Ильф и Петров явление или не явление?

Ильф посмотрел на меня, усмехнулся характерной для него насмешливо-доброжелательной улыбкой и шепнул:

– Явление меж тем спускалось по лестнице. Оно курило…

Ильф – и не только он один, а вся семья, в которой он

родился и вырос, – представляет собой поразительный пример той силы, которой обладает врожденное призвание.

Их было четыре брата. Ильф был третьим по старшинству. Отец их, мелкий служащий, лавировавший на грани материальной нужды, решил хорошо вооружить своих сыновей для житейской борьбы. Никакого искусства! Никакой науки! Только практическая профессия! Старшего сына, Александра, – это было задолго до Октябрьской революции – он определяет в коммерческое училище. В перспективе старику мерещилась для сына карьера солидного бухгалтера, а может быть – кто знает! – даже и директора банка. Юноша кончает училище и становится художником. Отец, тяжело вздохнув, решает отыграться на втором сыне, Михаиле. Уж этот не проворонит банкирской карьеры! Миша исправно, даже с отличием окончил коммерческое училище и стал тоже художником. Растерянный, разгневанный старик отдает третьего сына, Илью, в ремесленное училище. Очевидно, в коммерческом училище все-таки были какие-то гуманитарные соблазны в виде курса литературы или рисования. Здесь же, в ремесленном училище «Труд» на Канатной улице, – ничего от искусства. Здесь только то, что нужно токарю, слесарю, фрезеровщику, электромонтеру. Третий сын в шестнадцать лет кончает ремесленное училище и, стремительно пролетев сквозь профессии чертежника, телефонного монтера, токаря и статистика, становится известным писателем Ильей Ильфом.

Нельзя не признать, что это была семья исключительно одаренная для работы в искусстве. И ничто этой непреодолимой тяги не могло остановить.

Можно только задать вопрос: стал ли бы третий сын Ильфом, если бы он в один из наиболее счастливых дней своей жизни не встретился с Евгением Петровым?

Надо сказать, что Ильфа всегда одолевали одновременно десятки тем и замыслов. Это видно и по его «Записным книжкам». Это был ум широкий, но разбросанный. Или, может быть, с трудом укладывавшийся в рамки традиционного повествования и блуждавший в поисках новых жанровых путей.

И вот тут как нельзя более кстати встретился ему на жизненном пути Женя Петров, талант уравновешенный, дисциплинированный, умевший, сочетав острую, но разбегающуюся фантазию Ильфа со своим упорядоченным и отчетливым воображением, ввести вдвоем с Ильфом все это богатство в привычное русло плавного рассказа.

В последние годы своей совместной работы они словно пронизали друг друга. Лучший пример этого слияния –

целостность «Одноэтажной Америки», которую они писали раздельно. Книга эта стоит, на мой взгляд, нисколько не ниже сатирических романов Ильфа и Петрова. А местами по силе изображения и выше. Порочность общественного строя США вскрыта глубоко и притом без вульгарного и бездоказательного окарикатуривания американцев, а художественно сильными картинами теневых сторон американского образа жизни. Очень высоко оценил «Одноэтажную Америку» А. Н. Толстой, который назвал ее «чрезвычайно зрелой художественно».

Те же мотивы мы встречаем и в частных письмах Ильфа из США.

«Только что я пришел со спектакля «Порги и Бесс», – писал Ильф из Нью-Йорка. – Это пьеса из негритянской жизни. Спектакль чудный. Там столько негритянского мистицизма, страхов, доброты и доверчивости, что я испытал большую радость. Ставил ее армянин Мамульян, музыку писал еврей Гершвин, декорации делал Судейкин, а играли негры. В общем, торжество американского искусства».

Ильф и Петров хорошо знали американцев. «Вино, – записал Ильф в своей «Записной книжке», – требует времени и умения разговаривать. Поэтому американцы пьют виски».

Во время войны я наблюдал Евгения Петрова в обществе американца. Это был известный писатель Эрскин Колдуэлл. Было это в августе 1941 г. Колдуэлл оказался единственным крупным американским литератором на нашей территории в ту начальную пору войны. Американские газеты и агентства буквально засыпали его просьбами писать о военных действиях на Восточном фронте. Евгений Петров, друживший с Колдуэллом, приводил к нему приезжавших с фронта литераторов, для того чтобы они начиняли его «боевой» информацией.

Ленинградский фронт тогда освещался в печати довольно скупо, и Колдуэлл с жадностью прильнул ко мне. Это был довольно еще молодой человек, болезненной наружности, с мягкими манерами. Он поразил меня двумя своими особенностями. Во-первых, размерами своего шлема. Тогда Москву бомбили, и Колдуэлл во время бомбежки надевал этот свой стальной шлем, который покрывал не только голову, но и плечи и даже часть спины. Где он достал эту штуку, я не знаю. Наверно, ее сделали по специальному заказу. Я не мог отвести глаз от этого грандиозного шлема, он меня гипнотизировал. Наконец, Петров, воспользовавшись тем, что Колдуэлл на минуту вышел из комнаты, сказал мне довольно сердито:

– Слушайте, Лева, что вы уставились на этот шлем? Колдуэлл – человек вежливый. Кончится тем, что он вам подарит его. И

тогда вы пропали. Это же все равно, что выиграть в лотерею корову.

– Но почему он такой большой? – спросил я, все еще не в силах оторваться от шлема.

Женя свойственным ему предостерегающим жестом поднял палец, наклонил набок голову и сказал назидательно:

– Американцы любят не только свою голову. Они очень привязаны к своей спине и к своим плечам.

Вторая вещь, которая поразила меня в Колдуэлле, – это его не совсем уверенные познания в географии Европы. Когда я рассказывал ему о положении на Ленинградском фронте, выяснилось, что он не только не догадывается о существовании на свете Финского залива, но и не совсем четко представляет себе, где, собственно, расположены Финляндия и Балтийское море.

Когда мы ушли от Колдуэлла, я не скрыл от Петрова своего удивления.

– Слушайте, Лева, – сказал Петров, взяв меня под руку и заглядывая мне в лицо с характерным для него наклоном головы, – зачем ему знать географию? Американцы знают только то, что им нужно для их профессии. Колдуэлл – узкий специалист. Он умеет только одно: хорошо писать. Больше ничего. Скажите откровенно: вы считаете, что для писателя этого мало?

Не помню, что я ответил. Но хорошо помню, что меня поразило в этих словах Евгения Петрова. Меня поразило, что то же самое в этом случае, вероятно, сказал бы Илья Ильф, Меня поразило внезапно вспыхнувшее в Петрове сходство с Ильфом – через пять лет после его смерти.

Когда хоронили Ильфа, Петров обмолвился горькими словами: «Я присутствую на собственных похоронах…» И вдруг через пять лет я увидел, что Ильф весь не умер.

Петров, так никогда, на мой взгляд, и не утешившийся после смерти Ильфа, как бы сохранил и носил в самом себе Ильфа. И этот бережно сохраненный Ильф иногда вдруг звучал из Петрова своими «Ильфовыми» словами и даже интонациями, которые в то же время были словами и интонациями Петрова. Это слияние было поразительно. Его до сих пор можно наблюдать более всего все в той же «Одноэтажной Америке», где двадцать глав написаны Ильфом, двадцать – Петровым и только семь – совместно. Но никто не мог отличить перо Ильфа от пера Петрова. Их литературное братство стало химическим соединением, одним телом.

Трудно сказать, всегда ли так было или это пришло с годами,

но у них появились общие черты характера.

Не следует думать, что Ильф и Петров по своему положению сатириков беспрерывно острили и, не переводя дыхания, извергали из себя сногсшибательные афоризмы. Люди хохочут, читая саркастические страницы их романов, осмеивающие моральное уродство обывателей. Но самих писателей эти бытовые пороки не смешили, а возмущали, мучили. Тот, кто знал Зощенко, помнит, что эта черта была свойственна и ему.

Был случай, когда долго и неудачно возились с началом одного строительства. Бездарный проект и бюрократические методы работы возмущали Ильфа, который имел возможность часто наблюдать этот объект. На строительной площадке вечно толпилось без дела множество народу. Служащих было едва не больше, чем рабочих. Уже построили дом для администрации, контору, склад. А стройка не подвигалась. Как-то, увидев Ильфа, я осведомился о положении на объекте. Он сказал с досадой:

– Все то же: вырыли большой котлован и ведут в нем общественную работу.

Я рассмеялся, но Ильф оставался мрачен.

Другой случай. Редакция «Литературной газеты». Заместителем редактора был тогда Евгений Петров. Однажды в редакцию приезжает поэт, довольно известный. В руках у него патефон. Он входит в кабинет Петрова, заводит патефон и проигрывает только что выпущенные пластинки с напетыми на его тексты песнями.

После ухода поэта Петров сказал:

Все-таки Лев Толстой не ездил по редакциям с патефоном…

Мы все, кто там был, рассмеялись. Но Петров не смеялся. Ему было грустно.

Еще один пример. Мы с Ильфом работали когда-то в одной редакции. Редактором у нас был человек грубый и невежественный. Однажды после совещания, на котором редактор особенно блеснул этими своими качествами, Ильф сказал мне:

– Знаете, что он делает, когда остается один в кабинете? Он спускает с потолка трапецию, цепляется за нее хвостом и долго качается…

Это не острота в общепринятом смысле этого слова. Это художественный образ, безжалостный в своей точности. Замечание Ильфа о котловане, так же, как и отзыв Петрова о поэте с патефоном, – это не игра слов, не острота для остроты.

Надо сказать, что лексика романов Ильфа и Петрова продолжает ощутительно влиять на язык молодых поколений. Это видно и по прозе современных молодых писателей.

Эффект смешного у Ильфа и Петрова проистекал из того, что

вещи, изображаемые ими, не совпадали с распространенными и неверными представлениями об этих вещах, и с тем большей пронзительностью сатирические приемы этих писателей вскрывали самую сущность людей и явлений. Образы их были неожиданны, но точны«И в точности своей беспощадны.

С годами Ильф и Петров становились в творчестве своем серьезнее, лиричнее, глубже. Именно об этой поре вспоминает Евгений Петров в своих незаконченных набросках об Илье Ильфе: «Юмор очень ценный металл, и наши прииски были уже опустошены». От этих слов, тоже замечательных по своей образной точности, веет некоторой грустью: это похоже на прощание с молодостью. Иногда Ильф и Петров мечтали вслух о том времени, когда сатирики не будут нужны, ибо исчезнет самый материал для сатиры. Если бы такое время каким-то чудом и наступило при жизни Ильфа и Петрова, это вовсе не значило бы, что они перестанут писать. Когда-то сходный процесс переживал и Чехов, уходя от «осколочных фельетонов с их сатирической гиперболизацией в большую реалистическую литературу. Первым опытом Ильфа и Петрова в новом для них направлении явился очаровательный рассказ «Тоня».

Новые настроения сказываются и в письмах Ильфа из Америки. Вот отрывок из одного письма, где он описывает свое впечатление от зрелища, которое испокон веков принято считать романтически красивым и неотразимо живописным:

«Сегодня мы все пошли смотреть бой быков в Хуареце… Я об этом не жалею, но скажу тебе правду – это было тяжелое, почти невыносимое зрелище… В программе было четыре быка, которых должны были убить две девушки-тореро. Быков убивали плохо, долго. Первая тореодорша колола своего быка несколько раз и ничего не могла сделать. Бык устал, она тоже выбилась из сил. Наконец быка зарезали маленьким кинжалом. Девушка-тореро заплакала от досады и стыда… Особенно подлое зрелище было издевательство над четвертым. Все сделалось еще унизительнее и страшнее…»

В основе разоблачительного пафоса и сатирического гнева Ильфа и Петрова лежало глубокое чувство любви к родине, подлинный высокий советский патриотизм. Вот почему их книги вызывали такую яростную реакцию со стороны международного фашизма. С какой гордостью писали Ильф и Петров в 1935 году о варварской расправе гитлеровцев с их книгами: «Нам оказана великая честь, нашу книгу сожгли вместе с коммунистической и советской литературой».

Жестокость, самодовольство, бездушие, лицемерней прочая

душевная грязь даже в микродозах не ускользали от глаз Ильфа и Петрова, от четырех проницательных глаз этого писателя. Она не поддавалась никаким иллюзиям. Никакой внешний блеск, никакой декламаторский пафос не могли их обмануть.

К Ильфу и Петрову тянулись молодые писатели, пробовавшие себя в сатирическом роде. Группировались они главным образом вокруг Петрова. Общение это было непродолжительным. Петров умер молодым. Но до сих пор бывшие ученики его, «сии птенцы гнезда Петрова», ныне люди на возрасте, помнят точную, кропотливую работу его над рукописями, предметные уроки мастерства и излюбленное его присловье: «В искусстве, как и в любви, нельзя быть осторожным».

Однажды в театральном мире Москвы произошел случай, который послужил поводом к появлению на страницах «Правды» одного из самых «неосторожных» и благородных фельетонов Ильфа и Петрова. Вкратце говоря, дело состояло вот в чем. В один из московских театров пришел на спектакль гражданин с женой. Контроль не впустил их, несмотря на то что их билеты были в полном порядке. Оказалось, что театр, зная, что эти места уже куплены, тем не менее продал их вторично. Причина: спектакль пожелал посмотреть не кто иной, как «сам» американский посол. А в таком случае, решило руководство театра, плевать на своих.

До сих пор этот старый фельетон Ильфа и Петрова обжигает огнем гражданского гнева, с каким писатели заступились за достоинство советского гражданина и обрушились на лакейское рвение театральной администрации.

В ту пору, когда Ильф был уже очень известным писателем, он прочел только что вышедшую книгу молодого тогда писателя Юрия Германа – «Наши знакомые». Ильф лично не знал его. Но, услышав, что Герман приехал на несколько дней в Москву из Ленинграда, Ильф разузнал, в какой гостинице он остановился, и пошел к нему специально, чтобы сказать этому незнакомому молодому писателю, как ему понравился его роман и почему он понравился ему.

Я уже говорил о доброте – чувстве, общем у Ильфа и Петрова. Надо уточнить: какая это была доброта? Не та инертная, вялая, стоячая, которая рождается из бесхарактерности. Нет, им была свойственна доброта деятельная, борющаяся, которая и сообщила их писаниям дух непримиримой борьбы против всяческой глупости, хамства, беспринципности.

Внимание Евгения Петрова к проблемам материального быта, за которое иные называли его «поэтом сервиса», проистекало не из какой-нибудь его особой привязанности к комфорту, а из никогда не покидавшего его желания облегчить существование

людей и из того, что он представлял себе это не в приподнятых, отвлеченных общих фразах, а конкретно, вещественно, по-земному. В основе всей литературной деятельности Ильфа и Петрова лежала любовь к человеку. Заботливая, деятельная, воинствующая любовь к человеку, которая, как мне кажется, и является главной причиной популярности этих писателей в народе.

1957

* * *

Всякий раз, когда мне случалось проходить через площадь Согласия, со стороны ли Елисейских полей или из сада Тюильри, я вспоминал Ильфа и Петрова.

Вот что они рассказали мне задолго до того, как я побывал в Париже. Говорил глазным образом Женя Петров. А Иля лишь изредка вставлял замечания. Иногда, впрочем, они перебивали друг друга и даже спорили довольно запальчиво.

Я отлично помню этот разговор. Закрыв глаза, я и сейчас явственно слышу резкий голос Жени Петрова, смягченный южными интонациями, и холодноватый тенорок Ильфа. Мне кажется даже, что я мог бы воспроизвести их рассказ дословно, от первого лица. Но я боюсь упреков в неточности («спустя столько лет вы не могли» и так далее), и я передам этот разговор в косвенной речи.

По словам Петрова, оба они, и он и Ильф, бегали на площадь Согласия чуть ли не ежедневно.

(Ильф: Мы заболели площадью Согласия.)

Иногда они брали стулья в саду Тюильри, садились у балюстрады, вытягивали ноги и подолгу смотрели на площадь в безмолвном восхищении. А иногда становились посреди зданий Лувра на площади Карусель, смотрели сквозь Триумфальную арку и видели площадь Согласия и за ней всю стрелу Елисейских полей, а в конце их, на площади Звезды, вторую Триумфальную арку, а сквозь нее улетающую вдаль авеню Великой Армии.

Главная прелесть площади Согласия, по словам Петрова, в том, что она не обстроена домами, а открыта пространству со всех сторон, за исключением северной. Там стоят, обрамляя вход на улицу Руаяль, два симметричных дворца. А с остальных трех сторон – небо, вода, зелень.

(– Не в этом ее главный смысл, – вмешивался Ильф.)

Петров горячился. Стремясь заглушить Ильфа, он кричал, что заранее знает, что хочет сказать Ильф, – что по краям площади восемь статуй – символы городов. Удивительная память Петрова тут же подсказывала ему: Нант, Бордо, Марсель, Лион, Страсбург, Лилль, Руан, Брест.

(Ильф качал головой: – Нет, не в этом дело. – Фонтаны Луи-Филиппа! – кричал Петров. Но Ильф качал головой.)

Тогда Петров принимался описывать главное диво площади Согласия: Луксорский обелиск. Ему три тысячи пятьсот лет! Он розовый!…

(Ильф: Строгий и странный.)

– Он из Фив! Храм Аммона! Рамзес Второй! Двадцать четыре метра высоты! Двести тонн веса…

Исчерпав все аргументы (– Вид на церковь Мадлен! Кони Марли у Елисейских полей!), Петров напоследок швырял в нас голову Марии-Антуанетты, которая скатилась на этой площади, и изнеможенно умолкал, уставившись на невозмутимого Ильфа взглядом одновременно яростным и вопрошающим.

И тогда тот спокойно объявлял, что самую удивительную работу на площади Согласия проделал не скульптор Кусту, не инженер Леба, не архитектор Габриэль, а другой великий работник, которого зовут Время. Это оно собрало и примирило все различные, противоречивые, спорящие друг с другом части площади Согласия – разных стилей, веков и даже стран – в одну удивительную, непревзойденную гармонию.

Я слушал как завороженный. Я сам, еще не увидев площади Согласия, уже начинал заболевать ею. Но рассказ здесь не кончался. Изюминка впереди.

Оказывается, главная беда, по словам Петрова, была в том, что ему с Илей не на кого было излить свои восторги.

Ильф подтверждал, что их распирало от восхищения, что оно булькало в них, и они боялись, что их разорвет.

В самом деле, не парижанам же рассказывать, как хороша площадь Согласия. И не друг другу. А знакомых приезжих, как назло, не было.

И вот однажды, уже перед самым отъездом из Парижа, Ильф и Петров встретили в консульстве только что приехавшего из Москвы работника философского фронта и его жену.

Женя и Иля тотчас вызвались стать их добровольными гидами. Рассказывая об этом, Петров уверял меня, что возможность показать другим то, что нравится тебе самому, – одна из самых больших радостей в жизни.

Философ не смог пойти. Пришлось удовольствоваться его женой. Ильф уверял, что ее звали Пульсатила Ефимовна. Надо сказать, что Ильф принадлежал к числу писателей, которые коллекционируют необычные имена, подобно Гоголю с его Ляпкиным-Тяпкиным, Земляникой и Яичницей, или Чехову с его Фильдекосовым и Дрекольевым. У Ильфа в «Записной книжке» значится мальчик по имени Вердикт, некто Сухопарыч и мадам Везувий. Ильф утверждал, что помнит слова, с которыми работник философского фронта обратился к жене:

– Пульсатилочка, есть предпосылки погулять с товарищами по Парижу.

Видимо, он был польщен тем, что его жену будут сопровождать знаменитые писатели. По описанию Ильфа и Петрова, Пульсатила Ефимовна была крупная дама с величественными манерами. Характеристики друзей несколько расходились. Петров говорил, что выражение Лица Пульсатилы Ефимовны было кисло-церемонное, как у королевы, у которой заболел живот. Ильф же находил, что она похожа на памятник, который на полчасика спустился к людям, а потом вскарабкается обратно на пьедестал и снова величаво застынет на века.

Но оба сходились в том, что она должна увидеть площадь Согласия всю сразу, а не приближаясь к ней Постепенно и привыкая к ее очарованию.

Поэтому они подвели ее к площади Тпо узенькой улочке Буасси-д'Англа и остановились за углом у здания автомобильного клуба.

Здесь они попросили ее закрыть глаза.

Затем они подхватили Пульсатилу под руки и бережно повели ее по площади к ее центру, к Луксорскому обелиску.

Рассказывая об этом, Петров признавался, что у него было некоторое опасение, как бы поразительная красота площади Согласия, внезапно нахлынув на Пульсатилу, не вызвала бы у нее нервного потрясения. Но он успокаивал себя тем, что красота не убивает. По-видимому, и у Ильфа мелькнуло то же опасение, потому что по Дороге он вдруг спросил Пульсатилу, как у нее с сердцем. Получив утешительный ответ, оба писателя успокоились.

Но вот и Луксорский обелиск. Здесь они остановились. Петров торжественно скомандовал:

– Откройте глаза!

Она открыла. Ильф и Петров самодовольно переглянулись.

Пульсатила Ефимовна медленно поворачивалась вокруг своей оси, величественно, как полководец на параде, оглядывая дефилировавшие перед ней дворцы Габриэля и в глубине между ними прелестный портик церкви Мадлен, и сад Тюильри, с просвечивающим сквозь деревья историческим «Залом для игры в мяч», и за зелено-голубой лентой Сены – античные колонны Бурбон-ского дворца, в которые церковь Мадлен глядится как в свое отражение, и упоительную перспективу Елисей-ских полей.

Петров вспоминал, что он и Ильф тоже, как и спутница их, вращались вокруг своих осей, сопереживая радостное волнение.

Наконец, завершив полный круг, Пульсатила Ефимовна остановилась и произнесла:

– Ну и что?

Петров признавался, что первым его побуждением было вырвать с корнем Луксорский обелиск и хватить его двумястами тоннами Пульсатилу по голове. Кроткий Ильф подтверждал, что и он был близок к тому, чтобы отправить Пульсатилу вслед за Марией-Антуанеттой.

Оба друга вздохнули, снова встали по обе стороны Пульсатилы и препроводили ее обратно к работнику философского фронта, молчаливые и мрачные, как конвоиры.

Вот о чем вспоминалось мне, когда я проходил через площадь Согласия, лавируя меж автомобилей и теней прошлого.

1965